



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

— **И**скусство раннего Средневековья характеризуется явным упадком. На смену античности, ... **И**споведующей красоту человеческого тела, приходит христианство, призывающее к раскрытию духовных начал. Но для изобразительного искусства эти идеи оказались губительны. Изобразительное искусство Средневековья нетождественно жизни, оно непонятно и малоэстетично. Христианство уничтожило прекрасное искусство античности...

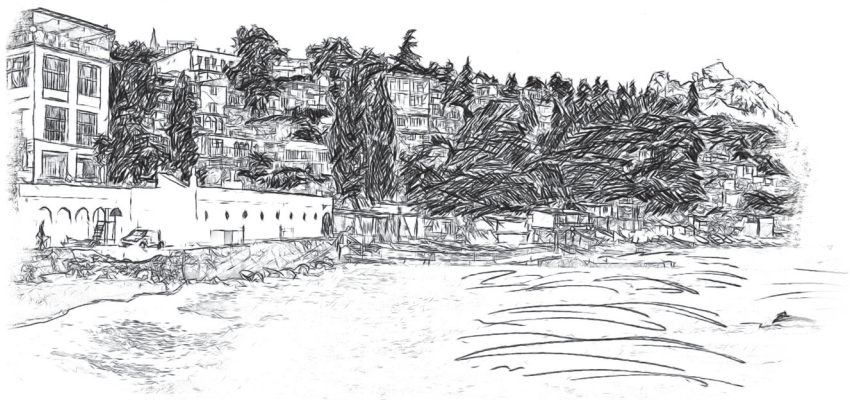
С этими словами я вступил в самостоятельную жизнь. Я заканчивал первый курс нашего «ликбеза» — так у нас называли Институт. И экзамен по истории и теории культуры был последним в летней сессии. Через два дня впервые без взрослых в компании двоюродного

брата мне предстояло отправиться на целый месяц в Джубгу. Мама сама купила нам путевку в какой-то пансионат и два билета в спальном вагоне до Туапсе.

От Джубги у меня осталось немного воспоминаний. Помню наш двухкомнатный номер люкс с прыщавыми, окрашенными голубой красочкой стенами. Помню наш самовар, прерогативу люкса, который подтекал так безбожно, что ко времени закипания воды в нем оставалось на полчашки. Помню, как мы пытались заклеить его жвачкой. Жвачка плавилась, капала вниз, на лету застывала и повисала, напоминая собой нечто совершенно неуместное к чаепитию. Помню, как мы покупали на тамошнем рынке персики и фундук. Сочные персики растекались по нашим подбородкам густыми оранжевыми ручейками, а фундук мы приспособились колоть булыжником, подобранным на пляже. Одна боковина камня была выпуклой и удобно помещалась в ладони. Другая — совершенно плоской. Получалось эдакое первобытное орудие, разбивающее разом по десяти орехов.

Пансионат наш располагал огромной территорией с галечным пляжем, глухим, одичавшим парком, площадкой под дискотеку. Был даже свой, затерявшийся в парке, кинотеатр, был и прокат на пляже.

Днем мы исследовали селение, лазали по горам или уплывали на катамаране подальше от берега и купались одни в прозрачной зеленой воде. Прежде я никогда не купался в море так



далеко от берега. Странное чувство — я запомнил его. Я ощущал себя частью стихии. Как будто солнце, небо, горы, вода и мы с братом — все это одно и нерасторжимо. Я нисколько не боялся воды и бездны под собой, я знал, что море не отринет меня и не сделает мне зла. Я кувыркался в изумрудной воде, смеялся, сам не зная чему, и думал, что вряд ли кто-нибудь догадывается, каким счастливым можно быть в открытом море.

А вечерами мы слонялись по территории, глазели на девчонок, валяли дурака на дискотеке, пересмотрели по два раза все картины в местном синематографе. Вход на территорию был свободным, но мы скоро вычислили всех постояльцев пансионата. И, даже встречая на рынке, не сомневались, что вот этот огненно-рыжий парень с безупречной улыбкой, да-да, тот самый, что появляется на публике исключительно в красных спортивных трусах; или вон та юная девица, жадно разглядывающая

всех своих сверстников и сверстниц, точно мечтая о друзьях, ведь она здесь в компании молодой дамы с напряженно-серьезным лицом и двух мальчишек пяти и семи лет, судя по всему, детей этой дамы; или вон те пожилые подружки, суесящиеся как на пожаре, чудно, ей-богу, приехали отдыхать, а мечутся из угла в угол как ошпаренные — встречая их в любом закоулке Джубги, мы не сомневались, что все это «наши».

Вели мы себя, как и подобает вести себя москвичам в провинции: нарочито громко и протяжно акали, задирали носы и изо всех сил изображали помещиков, вызванных, к неудовольствию своему, из столицы в имение и вынужденных, по настоянию управляющего, вникать в дела. Разумеется, если бы не продажа за долги, никто бы не выманил нас из города! Но в действительности оба мы были счастливы и решительно всем довольны. Даже однообразие отдыха не утомляло нас — ведь обоим нам было тогда по девятнадцать лет! А порой даже этого бывает достаточно, чтобы ощущать себя счастливым и довольным. Мы же, вдобавок ко всему, были студентами московских вузов, успешно окончившими первый курс. Впервые мы оказались без присмотра вдали от дома. Мы только начинали жить, и начало казалось нам приятным. Карманы наши были полны денег, сердца — радужных надежд. Что ожидало нас впереди, мы не знали. Но не сомневались, что, верно, что-нибудь очень хорошее.

Спросят, зачем я пишу все это, ради чего я вообще взялся описывать? Не знаю. Но уж, конечно, не ради писательской славы. Хотя в это трудно поверить, потому что теперь никто не верит в бескорыстие.

Зачем же тогда? Может быть, что называется, «в назидание потомству». Из желания удержать хоть кого-нибудь от ненужных шагов. Конечно, я не так наивен, чтобы всерьез верить, что рассказ мой послужит кому-то предостережением. И все-таки я надеюсь.

Забегая вперед, скажу: я всегда знал, что все это мерзко. Но почему-то изо всех сил пытался переубедить себя. «Нет, не мерзко,— говорил я себе,— а прогрессивно и современно. И если я не готов принять этого, я смешон, неразвит и закомплексован. А хочу ли я быть смешным, неразвитым и закомплексованным? Нет, не хочу. Что же остается? Принять то, что прогрессивно и современно».

Потянувшись, как козел за морковкой, за какими-то призраками, я чуть было не оказался в яме. Все то, что я пережил и о чем намереваюсь рассказать, вся моя тогдашняя жизнь кажется мне сегодня абсурдом, какой-то злой шуткой. «Дьяволов водевиль» — вот что это было такое.

Выбор мною профессии и учебного заведения, где бы я мог получить эту профессию, происходил мучительно и долго. Я мечтал отдаться какому-нибудь творчеству. Родителей же моих,

как это часто случается, подобная перспектива приводила в ужас. Словосочетание «творческая профессия» являлось для них синонимом неустроенности, безработицы и в то же время личного моего разгильдяйства с вытекающими отсюда пьянством и всякого рода невоздержаниями. Папа даже процитировал Пушкина, назвав меня наперед «гулякой праздным».

Я окончил художественную школу, но сомневался, что живопись — это мое призвание. Да и родители не хотели, чтобы я дальше учился на художника.

— Вот получи настоящую профессию, а там рисуй. Если захочешь... — убеждали они меня.

Я был томим талантом, но не был уверен, каким именно. Родители же, оба экономисты, назойливо советовали мне отправляться по их стопам. Меня же одно только упоминание о карьере бухгалтера повергало в уныние. Никому ведь и в голову не приходит учиться считать собственные деньги. А посвящать свою жизнь пересчитыванию чужих, да еще и дрожать над каждой цифрой — по-моему, трудно себе представить что-либо более бесславное и бесполезное. Кто-то сказал, что все зло в этом мире от экономистов, и я считаю эту мысль безупречно верной.

Я всегда совершенно искренно жалел своих родителей и недоумевал: как это можно по доброй воле и не от безысходности идти в бухгалтеры? Например, у мамы превосходный голос. Возможно, она не стала бы Анастасией

Вяльцевой, но ведь и Адамом Смитом она тоже не стала. И отчего это так бывает? Отчего карьеру незадачливого экономиста люди охотно предпочитают карьере пусть даже незадачливого певца, артиста или художника? Отчего если уж петь, то непременно в Большом театре, а вот на счетах щелкать не стыдно в любой подворотне?

Но родители в ответ на мои рассуждения только посмеивались. Правда, в конце концов все мы сошлись на том, что необходимо найти компромисс. Во внимание решено было принимать мои личностные особенности, предполагаемое жалованье, характерное для избранной деятельности окружение, а также спрос на профессию в обществе. Наконец компромисс был найден. Мы согласились, что совмещать творчество и относительную стабильность можно в одном единственном случае: посвятив себя науке. И поскольку ум мой родители отнесли к разряду гуманитарных, выбор ограничивался довольно скромным списком дисциплин. Папа переписал в столбец все известные ему гуманитарные науки и предложил мне следующий перечень: первым номером шла философия, напротив которой папа сделал пометку: «мать всех наук». Затем, уже без пометок, следовали история, филология, искусствоведение, психология, культурология. Первой со списком ознакомилась мама. Прочитав один раз, она задумалась, строго оглядела нас с папой и принялась читать во второй. После чего потребовала ручку и приписала от себя: этнография,

юриспруденция, религиоведение. Об экономике как будто забыли.

«Философия — “мать всех наук”, история, филология, искусствознание, психология, культурология, этнография, юриспруденция, религиоведение» — до сих пор я помню самый порядок, в котором были переписаны дисциплины. На том этапе я думал недолго, просто ткнул пальцем в «искусствознание», потому что именно искусствознание показалось мне наиболее сопричастной с творчеством наукой.

— Значит, будешь искусствоведом, — грустно уточнил папа, точно замуж меня отдавал.

Я молчал — его тоска была мне непонятна и неприятна.

— Что ж, — вздохнул папа, — хорошая профессия...

Добившись от меня определенности, родители успокоились. Но ненадолго. С самых тех пор за мной закрепилась слава будущего искусствоведа, и каждый мой шаг родители, к неудовольствию моему, повадились увязывать с выбором профессии. Отправлялся ли я на прогулку, читал ли книгу, выбирал ли рубашку к случаю или глодал куриную ногу — родители, не то шутя, не то всерьез, уверяли, будто я все делаю как настоящий «будущий искусствовед». Очевидно, им очень хотелось видеть меня студентом. Но из-за чрезмерно горячего желания они оба однажды насмерть перепугались, осознав как-то вдруг, что ведь студентом-то я могу и не стать. Не знаю, как это у них вышло, но в один прекрасный момент они обрушились

на меня и уж больше не оставляли в покое, решив, по всей видимости, воздействовать внушением.

— Ты не поступишь в институт! — срывающимся голосом предрекала мне мама, застав за неподходящим, с ее точки зрения, занятием.

— Был серым как штаны пожарника, таким и останешься, — поддакивал папа. И неизменно при этом добавлял: — Кроме ПТУ, дружок, тебе нич-чего не светит... А туда же — искусствовед!..

С их слов выходило, что не поступи только я в вуз сразу же после школы — а я непременно должен был не поступить, несмотря на «успехи в учебе и примерное поведение», — высшего образования мне не видать. А равно и мало-мальски приличной будущности.

— Потом в армию тебя заберут, потом женишься, потом дети пойдут — зарабатывать нужно будет... И все!.. — объяснял мне папа. И лицо его выражало отчаяние.

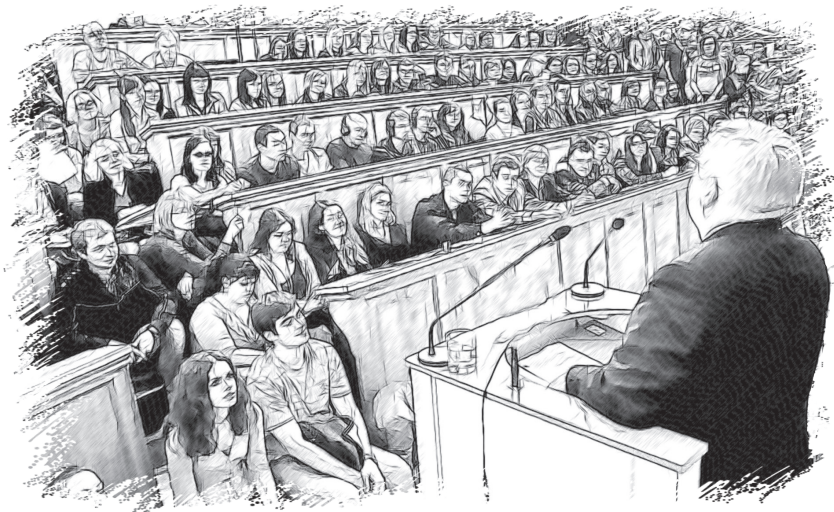
Отчаяние передалось и мне, так что я даже решил для себя, что если не поступлю с трех попыток, то повешусь или вроде того. А когда мы приехали отыскивать мое имя в списках зачисленных, позабыли не то что запереть двери машины, но и зажигание папа оставил включенным. Так и простояла наша «Волга» незапертой и тарахтящей, пока мы искали свою фамилию в списках...

Чувства мои по поводу зачисления оказались совершенно схожими с чувствами советских школьников, принимаемых в пионеры. Ей-богу, если бы у меня был красный галстук или любой

другой атрибут, выдававший мою принадлежность к студенческому братству — шпага, например, — я бы не снимал его даже ночью!

Я был зачислен в студенты в августе 91-го года. Это было время, когда по улицам Москвы ползали танки и вся страна жила в предвкушении чего-то необычайного. А многие так даже и верили, что все то необычайное, что грядет и вот-вот разразится, непременно будет содействовать ко всеобщему благу.

Ректор вуза, студентом которого я стал в то лето, был известен широкой публике своими либеральными и демократическими убеждениями. Это был шестидесятник и западник, то есть большой поклонник всего «как в Европе». О нем говорили, что он, как и прочие шестидесятники, всегда оставался верным «истинному марксизму», не испорченному болезненными сталинскими фантазиями, а преподаданному России



самим Лениным. И что будто бы за это власти неоднократно порывались отправить его в желтый дом, но почему-то так и не отправили. Между прочим, речь, произнесенная ректором на дне открытых дверей, произвела на меня сильнейшее впечатление, и, вероятнее всего, легендарная личность ректора и та самая произнесенная им речь создали необходимый перевес при выборе мною учебного заведения. Среди прочего, много было сказано о свободе, о том, что «страна наша встала на путь перемен и демократических реформ» (напомню, дело происходило еще в СССР); упоминалось о гласности и плюрализме; особо подчеркивалось, что мы, то есть тогдашние абитуриенты, являемся надеждой общества и что именно нам предстоит «стать первым свободным поколением обновленного государства». В этом смысле Институт был провозглашен «островком свободы», где максимально «предполагается реализовывать на практике принципы демократии, свободы и плюрализма». Овация стала наградой красноречивому ректору. Несколько девичьих голосков в разных углах аудитории пропищали восторженное «Браво!».

Повторюсь, что ректор наш в то время был человеком чрезвычайной известности и популярности. Он был депутатом Верховного Совета и одновременно с этим слыл диссидентом. Известность же его связывалась с целым рядом смелых критических выступлений в адрес советского правительства, приводивших в восторженный трепет всю страну. Сегодня я не знаю,

чего хотели все эти люди, называвшие себя красивым словом «диссиденты». «Мы — диссиденты, изгои», — с гордостью говорили они. Но, кажется, никто из них не предлагал возродить святыни или, например, поднять деревню. Что, собственно, они предлагали для страны, куда звали — право, не ясно. Но тогда это было не важно. Главное, они критиковали советскую власть, и это в них подкупало.

Институт же наш оказался настоящим пристанищем для диссидентствующей публики. Проректоры все сплошь тоже слыли диссидентами, а равно и несколько профессоров. Поговаривали, что проректор по учебной части прошел сталинские лагеря и на правом предплечье носит клеймо, оставленное ему мучителями. Слух этот подхватили с каким-то даже аппетитом и с наслаждением затем перекладывали из уст в уста. Хотя почему-то никого не смущал возраст проректора — судя по его летам, в застенках он мог оказаться, будучи грудным младенцем. Впрочем, в те страшные годы чего только не случалось.

Вследствие всех этих свободолюбивых устремлений нашего начальства Институт со временем действительно превратился в «островок свободы» и плюрализма. Какой-то негласный дух терпимости ко всему, что только ни на есть, привлекал под его своды самую разношерстную публику. Феминистки с нечесаными волосами, драными подмышками и в каких-то подвязанных опорках; странные иноземцы — не студенты

и не преподаватели, — расточавшие кругом себя холодные улыбки; лысые проповедники в черных френчах и золотых очках; сектанты с безумными глазами, хватавшие за рукава и вкрадчиво, но неотвязно предлагавшие рассказать о Библии, — все это немедленно хлынуло к нам, точно потоки воды из открывшихся вдруг шлюзов, все это норовило читать лекции.

Впрочем, семена свободы, демократии и плюрализма чуть было не погибли, не успев дать всходов.

В то самое время, когда я отыскивал свою фамилию в списках зачисленных на первый курс, в кулуарах Института стоял несмолкаемый шепот. Дело в том, что наш ректор, диссидент и либерал, оставив все свои административные начинания и научные изыскания, вдруг вспомнил о каких-то срочных и неоконченных делах, ожидавших будто бы его в швейцарском городе Цюрихе. И едва только в Москве появились танки, как он срочно выехал в Цюрих оканчивать эти свои дела. Невинное, казалось бы, обстоятельство совершенно взбудоражило умы. Замелькали какие-то нехорошие улыбочки. Шепот и многозначительные взгляды сделались обычным делом. Появилась даже некоторая озабоченность на лицах — а ну как цюрихские дела не удасться закончить в срок? Но вопреки опасениям и дурным предчувствиям все завершилось как нельзя лучше. Через несколько дней наш ректор вернулся в Москву и как ни в чем не бывало заступил на службу. При этом весь вид его

свидетельствовал о каком-то триумфе, точно это он, а не кто другой способствовал из Швейцарии разрешению всей тогдашней русской путаницы.

Что до меня, скажу откровенно: в то время я был бесконечно далек и от политики, и от какого бы то ни было понимания действительности. Происходившее вокруг интересовало меня не более чем театральное действо. Я был большим охотником до всякого рода недоразумений и радовался, стоило завариться очередной политической каше. Разинув рот я следил за развитием, ждал развязки и почти зевал, когда события переставали быть захватывающими. То, что развернулось на сцене Москвы в октябре 93-го года, не пробудило во мне ничего, кроме радостного возбуждения и любопытства. Это новое недоразумение повлекло меня и шестерых моих товарищей на Красную Пресню. В Москве тогда стреляли, то есть буквально где-то грохотали орудия. И уж конечно, мы не могли остаться в стороне и пропустить такое зрелище. Один из нас, Виталик Экземпляров, 4 октября бывал новорожденным. В тот год ему исполнялось 20 лет. По этому поводу он намеревался собрать нас у себя в ближайшую субботу. А пока решено было отметить его рождение «на баррикадах».

Мы двигались по опустевшей Тверской от центра в сторону Садового кольца. Где-то слева от нас грохотала настоящая канонада. Да-да: мы шли под грохот канонады! И вот представьте: Тверская улица, где вечерами от множества огней светлей, чем днем; где что ни дверь, то



магазин; где каждодневно захлебывается стальной поток. Вдруг — ни одной машины, а всех прохожих можно сосчитать по пальцам. И канонада!

Есть чувство, я думаю, оно знакомо всем, когда реальность перестает реальной быть, когда вдруг кажется, что снишься сам себе и все, что происходит, суть обман, иллюзия и умопомрачение.

Я хорошо помню тот день. Было очень тепло и солнечно, что совершенно необычно для этого времени года. Как распознать запоздалую осень среди камней большого города, где нет ни птиц, ни листьев под ногами, ни темных, увядающих цветов? Но в городе есть солнце, по-осеннему высокое, но все еще теплое солнце; есть особенная, замеченная всеми поэтами чистота и прозрачность воздуха; льдистая голубизна предзакатного неба, тоже ставшего высоким и прозрачным; и первая, чуть ощутимая прохлада, обнаруживающая себя по вечерам паром дыхания.

Мы радовались последним теплым лучам, ощущение нереальности происходящего волновало нас, мы болтали разный вздор и поминутно смеялись. Вдруг на повороте в Козицкий переулок Виталик остановился.

— Знаете что, ребят,— неуверенно, точно извиняясь перед нами, сказал он,— поеду-ка я домой...

— Да ты что?! — окружили мы его. Нам казалось, что веселье только начинается.

— А как же твой день рождения?

— Чего дома делать?

— Брось, пойдем вместе! Мы же хотели на баррикадах...

— Мне что-то не хочется баррикад,— сказал он,— не хочу умирать в день рождения...

Его слова подействовали на нас. Все мы приумолкли и перестали хихикать.

Вдруг кто-то сказал:

— Платон умер в день своего рождения.

Этого оказалось достаточно, чтобы снова все смеялись. Ведь в то время мы были как щенки, которым ничего не нужно, как только резвиться.

— Да я, в принципе, не против... — улыбнулся Виталик,— только, знаете ли, хотелось бы оттянуть этот миг...

Мы не возражали. Проводив Виталика до ближайшей станции метро и заверив на прощание, что он утратил последний шанс стать хоть сколько-нибудь похожим на Платона, мы, уже шестером, двинулись дальше. Но когда мы добрались до Триумфальной площади, в наших